

ИВАН АКСАКОВ

О СТАТЬЕ Ю. Ф.
САМАРИНА ПО
ПОВОДУ ТОЛКОВ О
КОНСТИТУЦИИ В 1862
ГОДУ

Иван Сергеевич Аксаков
О статье Ю. Ф. Самарина
по поводу толков о
конституции в 1862 году

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2667035

Аннотация

«Вот и еще замогильный голос, так вовремя, в назидание нам звучащий, – голос, которому во дни оны и нельзя было раздаться во всеуслышание, как будто сама судьба задерживала его до настоящей нашей поры, когда он именно нужен и нужней чем в ту пору, – когда, кажется, самый общественный слух, благодаря вразумлению событий, приобрел большую чуткость и восприимчивость ко всякому трезвому и строгому слову правды...»

Иван Сергеевич Аксаков

О статье Ю. Ф. Самарина по поводу толков о конституции в 1862 году

Вот и еще замогильный голос, так вовремя, в назидание нам звучащий, – голос, которому во дни оны и нельзя было раздаться во всеуслышание, как будто сама судьба задерживала его до настоящей нашей поры, когда он именно нужен и нужней чем в ту пору, – когда, кажется, самый общественный слух, благодаря вразумлению событий, приобрел большую чуткость и восприимчивость ко всякому трезвому и строгому слову правды. Мы говорим про помещенную ниже, в этом же N, статью покойного Юрия Федоровича Самарина, друга и сподвижника К. С. Аксакова, к «Записке» которого, уже знакомой читателям, эта статья служит как бы дополнением. Никто, конечно, не упрекнет Самарина (которого, как гражданского деятеля, так единодушно почтило, после его кончины, русское общество, без различия направлений и партий) в избытке *идеализма*, – в чем привыкли винить его друга, – и потому единство выводов, к каковым они пришли оба, отправившись от разных точек зрения, представляется тем более замечательным и, думаем мы, убедительным. Это,

впрочем, не статья, а черновой проект заявления, которое, по мнению Юрия Федоровича, было бы полезно пустить в обращение (за подписью его и некоторых единомышленников), как протест против предполагавшегося адреса или ходатайства о даровании «конституции». Адрес, впрочем, не состоялся, а потому не было и надобности в подобном протесте; печатной же полемики о таком предмете в то время и не допускалось. Все это происходило в самом начале 1862 или в самом конце 1861 г., стало быть, вскоре после великого законодательного акта 19 февраля, когда Самарин – один из главных участников в подготовительных работах, которых этот акт был завершением, – находился, в звании члена губернского по крестьянским делам присутствия, в Самаре.

Как ни странным кажется это конституционное поползновение именно в ту историческую минуту, когда самодержавная русская власть явила себя поистине вполне достойною своего призвания, когда было до очевидности ясно, что колоссальный социальный переворот – освобождение от крепостной зависимости и наделение землею 20 миллионов русских людей и только благодаря ей мог совершиться путем мирным и спокойным, а не революционным, – однако ж этого факта отрицать нельзя. С одной стороны, в понятиях некоторых, не мирившихся с утратою крепостного права, уничтожение этой привилегии как бы упраздняло вместе с тем их солидарность с правительством, ограждавшим до сих пор их землевладельческие преимущества. Поколебленное

социальное положение и материальные жертвы, принесенные ими на пользу всего государства, открывали, казалось им, вполне законный простор их политическому властолюбию и аристократическим вожделениям. С другой – параллельно с великой работой освобождения, подготовительной и исполнительной, поглощавшей, по-видимому, внимание всего русского общества, – параллельно с нею, не принимая в ней ровнехонько никакого участия, шла неустанная пропаганда отвлеченного радикализма. Основоположники современного нигилизма занимали почти господствующее положение в тогдашней литературе и, несмотря на цензуру, с замечательным искусством вели широкую проповедь революционно-социалистического свойства, которая, не имея никакой реальной исторической для себя почвы, сеяла только отвлеченность и пустоту, – умственное и нравственное растление, плоды которого не замедлили сказаться, – сказываются и ныне. Им – этим «деятелям», этим кумирам и учителям молодежи – не было никакого дела ни до той тяжелой задачи, разрешением которой болела Россия, – то есть эмансипации крестьян, ни до действительных нужд народных, ни до тех великих, благих реформ, которые виднелись в перспективе и действительно были исполнены, – которые нуждались в молодых тружениках, но к которым эти проповедники не призывали, не направляли своих молодых адептов, толкая их лишь в озлобленное отрицание.

В оправдание этих сеятелей зла начала 60-х годов можно

сказать только, что сами они были продуктом предшествовавшего царствования, – не тем протестом здоровых сил организма, которые освобождают его из-под власти недуга, а явлением самого недуга, его уродливым, злокачественным порождением. Не они и не их последователи вынесли на своих плечах реформы Александра II, а большею частью люди вроде Самарина, который на пятом десятке лет не побрезгал кропотливым скромным трудом и пошел в чернорабочие, – вместе с тою, сравнительно малочисленную фалангою молодых, которая убереглась от влияния петербургской журналистики и удалилась в провинцию на должности мировых посредников. Верно, пророчески выразился 20 лет тому назад в своем проекте заявления Самарин о той «общественной силе», пред которою трусили, за которою, как водится, ухаживали даже многие представители власти того времени, жаждавшие популярности – сопричисления к лику «либералов». До какой бы степени помешательства ни дошли в настоящую минуту разгоряченные умы, говорит он, нельзя считать казенных учебных заведений и «литературных кружков того или другого цвета – силою. Положим, все они могут сделать много зла, нагнав на русскую землю *тучу диких понятий, извратив общественный смысл, сбив с исторического пути и сделав негодными для жизни несколько поколений*» (сбылась, к несчастью, печальная правда этих слов!), – «но все это проявление *силы чисто отрицательной*, а не творческой и не зиждущей. *Яд есть тоже сила*, но сила умерщвляющая,

а не дающая жизнь». К этим строкам можно прибавить лишь одно замечание, что Самарин, хотя и уподобил деятельность тогдашних некоторых проповедников действию яда, но все-таки, очевидно, не предполагал возможности отравы в таком широком объеме и в такой сильной степени, как это обнаружено новейшими нашими событиями.

Но радикалы того времени, как и радикалы нашей позднейшей поры, в сущности о конституции мало заботились, хотя *мирились* и с мыслью о конституции, как с средством ослабления власти и поводом к внутренней смуте. Сочувствие к конституции, – явно или тайно выражаемое, смотря по общественному положению, – было тем звеном, которое соединяло тогдашних людей «прогресса», людей «благоразумного», «умеренного либерализма», большею частью из бюрократической рати, с одной стороны, с радикалами, с другой – с партией, восчувствовавшей в себе политическое властолюбие вслед за утратою известных привилегий. Не питая, конечно, лично никакой симпатии к революционным тенденциям, эта партия, «умеренные» бюрократы-либералы и иные, важничавшие «разумным прогрессом» люди, – думали воспользоваться радикализмом как пугалом и в видах предотвращения от сей опасности – предложить власти компромисс вроде какой-то конституции, формы которой они, впрочем, и сами себе не выяснили (да никем не выяснена она и до сих пор). Радикалы, как сказано, с своей стороны не были врагами этого компромисса. Будущий историк не мало

подивится тому, что одновременно с совершением великого, всемирно-исторического труда, который, казалось, должен бы приковать к себе все внимание, притянуть к себе все умственные и духовные силы России, – в ту самую пору, как в уездах кипела живая, честная практическая работа, – в столицах происходило такое колобродство мыслей и чувств, такая антипатриотическая, антинациональная, «либеральная» *свистопляска* (слово, тогда же изобретенное), которая уподобляла общество чуть не дому умалишенных. В это самое время готовился в Петербурге, с помощью Сераковских, огрызок и одураченных русских «либералов», польский мятеж... Мы помним также, как внезапно прибыл в Москву из-за границы и явился к нам с горячею рекомендациею одного из наших талантливых художников, добродушнейшего из русских, но отличавшегося органическим отсутствием всякого политического смысла, – юный *иностранец* чуть ли не польского происхождения, некто Артур Бенни, с заготовленным проектом адреса от русских к Государю. Рекомендовалась, разумеется, конституция! Этот непрошенный, а может быть даже и прошенный аттестовавшими его русскими, радеть о России предполагал собрать для своего адреса «по крайней мере сорок тысяч подписей»...

Так как мы уже в принципе не могли допустить никакого иностранного вмешательства в русское дело, то наше свидание с г. Бенни было коротко, и мы с тех пор его не видали; знаем только, что он был радушно принят в некоторых

кругах, но адрес его, конечно, потерпел полнейшее fiasco. Мы упоминаем об этом эпизоде, как о характеристическом признаке времени, как о свидетельстве – до чего доходила не столько дерзость, сколько наивность, и не юноши Бенни только, но и русских, с ним нянчившихся: многознаменная, красноречивая, поистине *варварская*, – и в конце концов все-таки преступная наивность, заслуживающая историко-психологического исследования!

Так как посылать адрес русскому царю от *публики* было неудобно, – притом же адрес, хотя бы и был подписан всеми, приписавшими себя к «прогрессу», или к «интеллигенции», как выражаются в наши дни, однако не представил бы не только сорока тысяч, но и четырехсот подписей (ибо состоящим на государственной службе подписываться было бы прямо невыгодно), то и возникла агитация о сочинении адреса от какой-нибудь организованной корпорации или сословия. Имелся в виду съезд дворян на выборы, в первый раз после издания манифеста 19 февраля 1861 г. Но от слов перейти к делу – шаг великий, да и политический такт дворянства не допустил его на сей раз до такой грубой политической ошибки... Через год вспыхнуло польское восстание, подготовленное отчасти самими нашими, обмороченными «либералами» и рассчитывавшее на содействие поляками же взлелеянной русской революционной партии. Расчеты оказались ошибочными, потому что, когда из области внутренней глухой борьбы, из недр внутреннего общественного ду-

ховного брожения, вопрос выплыл наружу, в форме, доступной общенародному пониманию, то есть когда дело коснулось внешней чести, достоинства и целостности государства, – пробудились исторические инстинкты, и дух народный воспрянул во всей силе, а отрицательно-либеральные, разлагающие силы присмирели на время, в ожидании благоприятной поры. (Она и наступила, вслед за минованием опасности).

В этот-то промежуток времени, между освобождением крестьян и польским восстанием, когда слухи о готовившемся конституционном адресе дошли до Самары, Ю. Ф. Самарин и прислал к нам (мы тогда приступили к изданию «Дня»), на наше распоряжение, напечатанный в этом № проект заявления. Так как заявление имело характер гражданского действия, протеста, вынужденного гражданским же действием противоположного направления, то в такого рода действии, по нашему соображению, и не представлялось уже достаточного основания, как скоро мысль об адресе была оставлена: мы признали более приличным ограничиться чисто литературного, хотя несколько и отвлеченную борьбою с принципами, разъедавшими русское общество, и вызовом к жизни, по мере возможности, положительных стремлений и сил.

В то время отсутствие свободы печатного слова, – той доли свободы, которою мы теперь пользуемся, – являлось одним из самых крепких оплотов отрицательного и западно-либерального направления. Защитникам русского исто-

рического и народного принципа приходилось сдерживать свои нападения, с одной стороны, для того, чтоб, по недосказанности, избежать смешения с толпою подлых человекоугодников, с другой – для того, чтоб не подать противникам дешевого способа уклоняться от спора, с видом лежачего или жертвы, которая будто бы имела нечто сказать ниспровергающее и неопровержимое, но осуждена на молчание. Этим, в высшей степени выгодным положением наши противники и пользовались, ловко проводя между строк свои теории, приучив публику разуметь их по одному неувомимому для цензуры намеку, – и в то же время преграждая возможность всякого честного возражения – обвинением противника в «доносе»: средство не совсем добросовестное, но достигавшее цели. В то время события еще не ставили вопроса об упомянутом историческом принципе так резко и повелительно, как в наши дни, когда самое благо нашей страны требует, чтоб каждый исповедал прямо и открыто свои убеждения, заявил себя по ту или по другую сторону; когда имеется возможность спора почти без недомолвок и нет опасности, по недосказанности, подать повод к оскорбительным недоразумениям. Конечно, никто теперь не дерзнет причислить К. С. Аксакова и Ю. Ф. Самарина к сонму льстецов и человекоугодников. Но в то время, когда Самарин писал этот проект публичного заявления, такое заявление представлялось делом своего рода гражданского мужества и вело прямо к утрате «популярности» в среде большинства

русского общества. Этим и объясняются следующие строки Самарина: «Как ни ничтожны два-три голоса в массе голосов, поднявших современную разноголосицу, как ни несомненно, что эти одинокие голоса будут заглушены криком, топанием, свистом *и всеми орудиями убеждения современных прогрессистов* (современных „либералов“, можно бы сказать теперь), однако в настоящую минуту *молчать грешно*. Мы настолько устарели в своих понятиях, что для нас свист не опровержение, рукоплескание не доказательство, а успех не мерило убеждения. Без всякой надежды на успех, мы просто считаем долгом совести, гласно и без всяких недомолвок, высказать то, что мы думаем по поводу современных толков об ограничении самодержавия в России».

Хотя заявление Самарина написано двадцать лет тому назад, однако же, к сожалению, мало того – к истинному ужасу – оно кажется, за исключением некоторых частности, написанным как бы вчера! Мы говорим «к ужасу» потому, что этим доказывается, как мало подвинулось русское общественное сознание в эти двадцать лет, как, напротив, только усиливался и рос указанный Самариним недуг... Конечно, *внешней* опасности сойти с исторического национального пути России не грозит, как не грозило и тогда, – а теперь, можно думать, грозит и еще менее после того, как недуг объявился воочию таким страшным пароксизмом, как событие 1 марта. Можно даже уповать, что этот пароксизм – в то же время и благодетельный кризис, но слишком предавать-

ся такому упованию было бы еще рано. Несомненно одно, что власть, в союзе с народом, – вполне могущественная для предотвращения всякой внешней опасности, – в то же время своими внешними средствами не может спасти общество без него самого, без усилия его собственной воли, от нравственных, духовных зол, его разъедающих. Та отрицательная сила, о которой пишет Самарин, – разве она не продолжает, как и в 1862 г., «нагонять на русскую землю тучу диких понятий, извращать общественный смысл, сбивать с исторической колеи и делать негодными для жизни целые поколения»?! Нельзя внешними средствами велеть отрицательной силе – стать положительною, или перестать быть и творить, раз уж она завелась. Для этого необходимы внутреннее перевоспитание самого общества и тот, в нем самом, преизбыток начал положительных, который бы и помимо власти, свободно, органически удерживал в пределах развитие отрицательного начала... К этому и должны быть направлены усилия всех честных, любящих родную землю людей. Но многое, конечно, может и власть, движимая духом любви и истины. Признавая, вместе с Самариным, что верховная власть и народ представляют, пока, у нас единственные исторические положительные силы, мы думаем однако, что первая, со времен Петра, была сама не свободна от ржавчины отрицания, – отрицания не каких-либо высших отвлеченных, но исторических, жизненных, народных начал. От этой-то ржавчины и необходимо ей вполне избавиться, чтоб стать сно-

ва и вполне – силою творческою и зиждущею. Нужно, чтоб освежился союз царя с народом новым, теснейшим сближением; нужно, чтоб земля не чувствовала себя сирью, отчужденною, отдаленною, как прежде, – чтоб черствое слово петровской немецкой команды сменилось словом – властным вполне, но однако же родным, внятным, любовным, – чтоб не холодом веяло от власти, но чтоб власть светила, живила и грела, являя себе везде, всюду, деятельно и благотворно, – чтоб неправдою наконец стала скорбная народная поговорка «До царя далеко»!..